

Постоянно вспоминаю художника Владислава Валентиновича Рожнева. Талантливейший, незауряднейший человек. Картины его во многих российских и зарубежных музеях. Много в частных коллекциях. Я давно познакомился с ним на заседании Вятского землячества в Москве, то есть оба мы вятские, поэтому естественно, что подружился. Вообще я замечаю, что художники быстрее сходятся во мнениях не друг с другом, то есть не с соратниками по цеху, а с теми, кто не пишет картин, а просто пишет.

Искусство ведьмы, как он называл критикесс живописи, присвоили ему звание русского Магрита. Так можно сказать, но это очень заужено для Владика. Это был самородок, которому всё удавалось: пейзаж, портрет, жанр. Он всегда много работал, всё делал медленно, годами, но всё настолько великолепно, что раз увидевший его любую картину потом уже всегда её помнил. «Вожди на трибуне», «Красная площадь», «Праздник в Коминтерне», картины Средней Азии, Верхней Волги, много натюрмортов, в которых иронично и изысканно соединяются времена. Отжившие вещи приходят в современность, а современные становятся частью истории.

О своей работе Владик говорил: «Пойду, помашу кистенём», то есть кистью. Он очень любил жену. Много у него её портретов: «Наташа гладит», «Наташа у окна», «Наташа и кони». Любил её очень. Но вот беда — попивал. Всё-таки в рамках терпимости. Изредка срывался, но держался. Бывало и в переплёты попадал. Отовсюду его

вытаскивала Наташа. А когда Наташа ушла в мир иной, запил уже серьёзно. И мог говорить только о ней. И ещё о работе. У него было множество начатого и неоконченного. Перебирал, что-то доделывал. Показывал с понятной гордостью — хороши были задумки. Он их называл забросками. Это же заброс в будущую картину. Приговаривал: «Все считают, что я умный, а на самом деле (пауза) так оно и есть».

Я очень любил бывать у него в мастерской. И дома. Раньше, в былые времена, мы вместе и выпивали. Но когда с ним случилось горе и он мог его залечить только выпивкой, я выпивать с ним наотрез отказался. А он и один пил. И самое страшное, стал за ничто отдавать картины. Чем пользовались. Но не буду об этом.

Раз я был на даче и позвонил ему. И пригласил пожить, продышаться, помахать кистенём. Он приехал к вечеру с папкой бумаг, с красками, но и с запасом питья. Не вырывать же из рук.

— У тебя тут и ворон каркает: Стак-кан, ста-а-ка-ан!

Ничего он не хотел есть, только пил. Ночь не спал, бродил. Иногда сидя дремал. Листал книги и альбомы. Я по делам уехал в город. Вернулся, увидел, что папка даже не развязана.

— Ты что, не работал? Где продукция?

— Вот, — он показал на пустую стеклотару. — Хрусталь!

Убедившись ещё через день, что я ему не собутыльник, стал собираться. Сидел, не мог завязать шнурки. Я стал помогать, не даёт:

— Я же не совсем дебиле. Хотя дебилиссимо. Извини, пытаюсь справиться с мыслями и с вещами. То, что мы с тобой придурки, это уже точка отсчёта. Художник или, что то же самое, писатель ненормальны изначально. Ты заметил аллитерацию? Обязан в силу профессии. — Завязал шнурки на одном ботинке, разогнулся: — Итак, о чём я?

— Ты собирался с мыслями.

— Прособирался. И с прискорбием, от имени группы товарищей, сидящих во мне, констатирую этот факт.

Я опять попытался помочь завязать оставшийся шнурок.

— Нельзя, не приучай к барству.

— Завязать же надо шнурок.

— Да, с вами не просто, а просто тяжело. Шнурки, шнурок — это кликуха тинэйджера. А завязать — это завязать. Это этапное событие. Мне дано связывать и развязывать.

Обулся, передохнул, взялся за свою папку. Перебирает листы:

— Это вот забросок средней паршивости. А этот на полтона выше. А об этом я не готов вынести суждение. Хотя готов сказать всё. Нет, всё сказать никто не может. Всё знают только все. Да, «вынес остаточно русский народ».

Ещё смотрит. Иногда одобрительно взмахивает рукой, иногда крикает с досадой. Наконец, завязал шнурки уже у папки, встал. Отказался от еды, от чая, отхлебнул для поднятия сил из горлышка, и мы пошли к станции. Медленно шли. Когда он кренился вперёд, почти падая, мы шли быстрее. Он всё время останавливался, глядел вокруг:

— Готовая картина. Гляди: опилены сучки у ясеня. Кто-то защищал от него липу. За что? Она же ему рога наставила, торчат. Такой яшень

уже в Сикиликофосовского. Понял иносказательность? Наташа там меня навещала, когда меня в очередной раз убивали.

Еле ползём.

— Стой, буланчик, распрыгался. — Стоит у дерева, держится за ствол.

Потом оседает, сидит на траве.

— Как ты себя чувствуешь?

— Ты очень правильно спросил: себя. Не самочувствие, а себячувствие.

Проходят две девушки. Владик, а у него прекрасный голос, поёт:

— «Ты постой, постой, красавица моя, дай мне наглядеться, радость, на тебя». Не Паваротти, но держу уровень. — Девушки ускоряют шаг. — Правильно, не надо стоять, не надо раздеваться, нагледелся я на вас, голые натурщицы. Для меня в вас секретов нет. Ах, дымом от печей пахло, хорошо! Любил печку топить?

— Ещё бы!

Владик поворачивается:

— О! Это же скульптура! Столб, собака, пень! Видишь это совершенство форм? Ушла. Скотина какая, не дала ленточки разрезать. Ты понял, что мы были на открытии выставки «Совершенство форм природы и бесформенный художник»? Собака при дороге. По латыни «при дороге» «ин тривис», отсюда тривиальность. Но мы тоже при дороге. «Эх, дороги, пыль да туман, холода, тревоги...» Помнишь тарелку чёрную военную, послевоенную? Слушал все передачи, и все как истина в последней инстанции. Но были и не по радио, уличные, так сказать, а тоже неплохая добавка к познанию жизни: «Молодая комсомолка жулика хоронит». Я был счастлив. Сейчас я тоже счастлив.

— Может, пойдём потихоньку?

Спускаемся к источнику. Около него женщина, ещё не старая, но уже в седине:

— Погружаться пришли?

— Резонно, но не сезон, — отвечает Владик.

— У Господа всегда сезон. Погрузитесь и утопите в источнике свой грех. Какой? Видно же, какой. Просите Господа, чтоб не пить.

— Просил.

— Значит, плохо просил. Проси, чтоб мог просить.

— Мне бы такую спутницу жизни, как вы.

— Это исключено. У вас она была, и у меня он был. Их нет, и хватит.

— А как вы поняли?

— Как? Видно, что вы очень несчастны. Теперь нам только у Бога просить дожить до смерти.

Побрели дальше. Остановились на выгнутом мосту через речку. Владик лёг грудью на перила:

— Кипит вода. Эх, пороги, брызги в туман. Надо закрепить впечатление, то есть выпить.

— Но ты окрепнешь от этого или ослабнешь?

— Нет, токмо пользы для. Лекарство для и вот именно, и далее по тексту. А женщина хорошая. В неё бы Серов, нет, даже Боровиковский вцепился.

— Да и Тропинин.

— Понимаешь, хвалю. Страдание скрыто, красота явная, уходящая, но за неё не держится. Редкость.

— Владик, — говорю я, — это же отчаяние — быть художником. Вот вода сверкает, вот солнце заходит, как поймать? Каждую же минуту всё меняется. Такую яркость разве запомнить? Мне-то легче. «Заходило солнце, река темнела, свежело. Художник печалился, что не взял мольберта или хотя бы блокнота». И далее, как ты говоришь, по тексту.

— Шумит, гудит Гвадалквивир, — Владик всё не может насмотреться на воду. — Ночной зефир или эфир чего-то там струит, да-а. Свет, товарищ зритель, свет он струит. «Рёве та стогне».

Пробегают спортсмен. Сильно топают.

— Плохое воспитание. Он мог бы притормозить в силу того, что тут два седых бородатых человека. Это ему хотелось показать, что он прыгунчик-кенгурчик.

Тоже гляжу на воду.

— А у кого есть такая вода? Вот и водоросли подсвечивают.

— Есть. У Моне.

— У Клода?

— У Эдуарда. И у Клода есть. Эти людики нормальные очень.

Проходят две женщины. Смотрит:

— Мой комментарий: всё при них. Но, дуры, зачем они в штанах? А этот кенгурчик зачем без штанов? Люди задыхаются в самомнении, в пошлости, в похотливости и жеребьячем ржании. А эти проходящие во мрак, простые бабёшечки, это вам не Жоржетта, не Жозефина, не Форнарина, не освещённая солнцем девочка, они бы ничего во мне не поняли. Вернёмся к воде. Да, Мане, Моне. Они в моём иконостасе.

— В иконостасе иконы!

— Ну, это иносказательно. После них французы сдохли.

Добираемся еле-еле до станции. Ещё один раз он останавливается, но не садится: не встать потом.

— Видел у меня завалы картин в мастерской?

— Ну.

— Очень у нас вятское это «ну». Картины все давние. На выставке подходят дамы, краснеют, бормочут комплименты. Но я же это тридцать лет назад писал.

— И что? Значит, живы и ещё сто лет проживут.

— Скажи, — Владик сжимает мой локоть, — скажи, зачем я делал копии с себя?

— Деньги были нужны.

— То есть, поголодать не мог? А заказы пошли. От ресторанов, от посольств. Просили точно именно такую. То есть, я же повторялся! Сам себя повторял, это что? Возьми свой старый рассказ да перепиши от руки. Ничего не меняя, перепиши. И ещё перепиши. Ничего не меняя. Поглупеешь или запьёшь. Или и то и другое.

Он немного отпивает. Встряхивается. У станции берём машину и долго-долго в ней тащимся. Жара. Владик то дремлет, то смотрит по сторонам. Мысли в нём бродят неустанно:

— Мы — одно поколение, мы — земляные черви вятские, нас склёвывали, а мы-то не черви, гусеницы. Хотят склевать, а мы уже бабочки. Да, подумай, хорошо ли гвоздю, когда его забивают? Или мы ушли в землю, а? Готовить всходы?

Приехали к нему домой. От чая Владик отказывается. Ложится на диван:

— Мне мать говорила, когда я после седьмого класса поехал в Кострому в училище: «Ты в городе голову можешь потерять». Я и потерял. Видишь автопортрет: я стою и голову свою держу под мышкой. А второй автопортрет? Заметил — шляпа, как крыша над головой, наискосок? Читаешь мысль? Крыша поехала. Но это уже после Костромы, в Москве.

Всё-таки я ставлю чайник, завариваю чай прямо в кружке, приношу.

— Надо, Владик, надо всплывать. Чай поможет.

Владик пытается поднять кружку, но неловко, опрокидывает её. Я собираюсь пойти за тряпкой.

— Подожди. — Владик поворачивается и восхищённо замечает: — О, о, не зря я, не зря кружку опрокинул. Хорошо, что ты не взялся за тряпку. И хорошо, что чай жидок, как вода. Хозяин русский, чай жидок. Смотри, со стола налилось на пол, образовалась лужица. И она, веду репортаж, всё больше и больше. Океанский прилив. Был на океане? Я на Тихом был. Во Владике. А ты знал, что Владивосток называют Владиком?

— Я надеюсь, в честь тебя.

— Можно допустить. Смотри, в луже отражается небо за окном. А меня ещё спрашивают: где беру сюжеты? Не знаю где, говорю, но знаю, где взять. Смотри, неба в луже всё больше, оно в лужу стекает и, может стать, что к вечеру останемся без неба. Если бы чай был крепко заварен, небо было б среднеазиатским, а так — русское предтундрии. — Владик переворачивается обратно, тянется уже не за кружкой, за стаканом: — Эх, мой милёнок — живописец, мастер кисти и пера. На галошах мелом пишет в Третьяковке номера. Вот такое эт сэтера. Ты застал это время, когда в галошах приходили в театр?

— Конечно. Но при мне и перестали. Асфальт устранил их.

— Асфальт и Россию устранил. В русской литературе колёса экипажей и тарантасов, и телег стучат по мостовой? По мостовой! Слово-то какое прочное — мостовая. Не асфальт. Проверь и убедись: его происхождение из Мёртвого моря. Мёртвое море — Асфальтовое. Асфальтом покойников заливали для сохранности. У Даля объяснение: асфальт — жидовская мостовая. Народное название. Да плюс ещё от асфальта канцерогенность, раковые болезни. Асфальт не мостовая, по асфальту катятся. И мозгам что? Отдыхают. А на мостовой трясёт. И чего-нибудь всегда вытрясет. Вспомни у Розанова, как при езде на бричке по мостовой появлялись его «Опавшие листья». Он говорил, что мысли из него вытряхивает. Не самые, кстати, могу сообщить, глупые.

— Тряпку всё-таки принесу.

— Не надо! Само высохнет. Представляешь — небо высохнет.

— У меня в мальчишках стихи были: «Солнце в луже светит ярче, потому что лужа ближе». И ещё про лужу: «По лужам прямо! А вдруг под лужей тaitся яма колодца глубже. Но промедленье — убийство риска: сильней паденье — выше брызги». Как?

Владик хмыкает:

— На троечку, конечно. Но, учитывая вятскую молодость и оторванность от центров образования, накинём два балла за подход и отход.

Со стола перестаёт капать.

Владик спускает ноги на пол, долго думает:

— А вспомни, каким нас юмором кормили. Эстрадники нас считали за быдло. Да так и всегда с нами. И правильно, ржать от их шуток не надо. «Растворимый кофе поступил на базу. Поступил на базу, растворился сразу». Это, надо понимать, критика.

— Память была молодая, — поддерживаю я. — Вот тоже такое, помнишь? «Раз я в парикмахерску зашёл побриться, там меня царапала долго ученица. Я сижу и плачу, кровь с меня (с меня, Владик, слышь, это ж бабеллизм одесский), кровь с меня течёт. А она мне: тише, я сдаю зачёт».

— И как же мы выжили? — спрашивает Владик — Как? Отвечаю: спасала классика! Классика с большущей буквы. Иллюстрации классиков из журнала «Огонёк» вешали на стену. Спасали! «Алёнушка», «Три богатыря». И Россия за ними! «Грамотные запорожцы», «Оборона Севастополя», «Девятый вал», «Девочка, освещённая солнцем», «Мокрый луг»...

Я подхватываю:

— Рублёв, «Троица»! Иванов, Поленов, Кустодиев, Пластов, Абакумов! Давно ли, помнишь, с ним дружили. И вот — причислен к вечности! А в литературе! Пушкин, Тютчев, Лермонтов. Вот от этого классика сейчас и убивают. Загоняют в чёрную клетку квадратную. При Советах не сообразили убить, сейчас догоняют.

Владик снова перебирает листы с рисунками. И, соединяя две строчки поэтов, одного классика и другого, современника, произносит со вздохом:

— Суждены нам благие порывы, но небесные замыслы есть.

Берётся за папку, начинает завязывать на ней шнурки. Но вдруг резко их обрывает и швыряет в лужу на полу.